

Дж. М. Кутзее

Осень
в Петербурге

Я — это я,
я прикован к себе
пожизненно.

ЛУЧШЕЕ
ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ
ЛАУРЕАТОВ
МИРОВЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРЕМИЙ

Лучшее из лучшего. Книги лауреатов
мировых литературных премий

Джон Кутзее
Осень в Петербурге

«ЭКСМО»

1994

УДК 821.111-31(680)

ББК 84(6Южн)-44

Кутзее Д. М.

Осень в Петербурге / Д. М. Кутзее — «Эксмо», 1994 — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)

ISBN 978-5-04-098850-1

Федор Достоевский тайно приезжает из-за границы в Петербург и окунается в мир персонажей своих написанных и еще не написанных романов. Точнейшее воссоздание топонимики и реалий Петербурга времен Достоевского. Тончайшее понимание причин безумия, охватившего людей и эпоху.

УДК 821.111-31(680)

ББК 84(6Южн)-44

ISBN 978-5-04-098850-1

© Кутзее Д. М., 1994

© Эксмо, 1994

Содержание

1	6
2	9
3	11
4	16
5	20
6	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Джон Максвелл Кутзее

Осень в Петербурге

John Maxwell Coetzee
The Master of Petersburg

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © by J. M. Coetzee, 1994. By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue, Suite 5300 New York, NY 10118 USA.

© Ильин С. перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

1

Петербург

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, лежащей не遠далеке от Сенного рынка, медленно едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Сидящий в дрожках господин с сомнением оглядывает дом.

– Ты уверен, что это здесь? – спрашивает он.

– Шестьдесят третий номер по Свечной, как приказывали-с.

Господин сосупает на мостовую. Это человек на исходе средних лет, бородатый, сутулый; высокий лоб и густые брови сообщают ему выражение спокойное и сосредоточенное. На нем темный сюртук несколько старомодного покроя.

– Подожди меня, – говорит он извозчику.

За ободранными, облупившимися фасадами старых домов в окрестностях Сенной еще сохраняются остатки прежней изысканности, хотя большею частью дома эти вмещают теперь меблированные комнаты, сдаваемые мелким чиновникам, студентам и мастеровым. В проемах между домами выросли, местами стена в стену, кривоватые деревянные постройки этажа где в два, где в три – муравейники комнат, комнаток, комнатусек, в которых ютятся самая жалкая беднота.

Такие вот строения и подпирают с обоих боков шестьдесят третий номер, дом из старых. Паутина балок и подпорок пересекает посередке его фасад, отчего дом кажется взятым деревянными строениями в плен. Птицы понавили гнезд в изгибах его пилястров, запятнав пометом фасад.

Несколько ребятишек, забравшихся на подпорки, чтобы кидать оттуда камни в уличные лужи и затем, спрыгивая на мостовую, подбирать их, прерывают игру и разглядывают чужака. Трое из них, те, что поменьше, – мальчики, четвертая, видимо, главная, – девочка со светлыми волосами и замечательно темными глазами.

– Добрый вечер, – говорит он детям. – Не знает ли кто из вас, где проживает Анна Сергеевна Коленкина?

Мальчики не отвечают, смотрят насупленно, неприступно. Девочка же, поколебавшись, раскрывает, роняя камни, ладонь.

– Идемте, – говорит она.

На третьем этаже шестьдесят третьего номера прямо с лестничной площадки открывается длинный проход. Следуя за девочкой, господин идет темным, кривым, пропахшим капустой и вареной говядиной коридором мимо открытых дверей уборных к двери закрытой, выкрашенной в серую краску. Девочка пинком растворяет ее.

Они попадают в длинную, низкую комнату с тусклым светом из единственного окна, пробитого в стене на высоте головы. Тяжелые, как бы парчовые обои на длинной стене словно усугубляют мрак. Женщина в черном встает, поворачиваясь к нему. Ей за тридцать, те же темные глаза и густые брови, что у девочки, только волосы черные.

– Простите, что вхожу к вам так, без доклада, – говорит он. – Мое имя... – Он колеблется. – Сколько я знаю, сын мой был вашим жильцом.

Он извлекает из чемодана нечто, обернутое в белую салфетку, разворачивает. Это портрет мальчика, дагерротип в серебряной рамке.

– Здесь его можно узнать, – говорит он, не давая портрета ей в руки.

– Это Павел Александрович, мама, – шепчет девочка.

– Да, он снимал у нас комнату, – говорит женщина. – Мне очень жаль.

Наступает неловкое молчание.

– Он жил у нас с апреля, – продолжает она. – Вещи его так и остались в комнате, мы ничего не трогали, полиция только забрала кое-что. Желаете взглянуть?

– Да, – хрипло отвечает он. – Если сын вам задолжал, я, разумеется, заплачу.

В комнате сына, хоть это, в сущности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и глядящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, стола с лампой и стула. В изножье кровати лежит чемодан с тиснеными инициалами П. А. И. Чемодан знакомый – он сам подарил его Павлу.

Он подходит к окну, выглядывает. Дрожки так и стоят на улице.

– Не окажешь ли любезность? – обращается он к девочке. – Скажи извозчику, пусть едет, и заплати ему.

Девочка берет у него деньги и уходит.

– Если вы не против, я хотел бы побыть здесь один, – говорит он женщине.

Дождавшись, пока она выйдет, он первым делом откидывает на постели покрывало. Простыни свежие. Он опускается на колени и зарывается в подушку лицом – нет, ничего, только запах мыла и солнца. Он выдвигает ящики комода один за другим. В ящиках пусто.

Он снимает с кровати чемодан. Поверх прочих вещей в нем лежит старательно сложенная белая сюртучная пара. Он прижимается к ней лбом. И наконец улавливает чуть слышный запах сына. Он впивает этот запах, думая: дух сына, войди в меня.

Придвинув к окну стул, он садится и сидит, глядя на улицу. Наступили сумерки, темнеет. Улица пустынна. Время тянется, мысли его остаются неподвижными. *Думы* – вот самое верное слово, приходит ему в голову. Тяжесть в голове, тяжесть в глазах – точно свинец налили в душу.

Женщина, Анна Сергеевна, и дочь ее ужинают, сидя за столом против друг дружки, между ними стоит лампа. Когда он входит, обе замолкают.

– Вам известно, кто я? – спрашивает он.

Она поднимает на него взгляд, ожидая продолжения.

– Я хочу сказать, знаете ли вы, что я не Исаев?

– Да, Павел рассказал нам свою историю.

– Прошу вас, ужинайте, не обращайтесь на меня внимания. Вы позволите оставить пока чемодан у вас? Я заплачу до конца месяца. Собственно, я, с вашего разрешения, заплачу до конца ноября. Я хочу сохранить комнату за собой, если она никому не обещана.

Он протягивает ей деньги, двадцать рублей.

– Вы не станете возражать, если я буду по временам заходить к вам под вечер? Днем кто-нибудь дома бывает?

Она мнется. Обменивается взглядом с девочкой. Уже, подозревает он, появилась у нее задняя мысль. Конечно, лучше будет, если он заберет чемодан и больше у них не появится, тогда и о мертвом постояльце можно будет забыть и комната освободится. К чему ей этот скорбный человек, словно бы источающий мрак? Ан поздно – деньги были предложены ей и ею приняты.

– Матреша после полудня дома, – негромко произносит она. – Я дам вам ключ. Только, я вас попрошу, проходите туда через отдельный вход. Дверь между комнатой жильца и нашей не запирается, но мы ею обычно не пользуемся.

– Прошу извинить. Я не подумал об этом.

Матрена. С час примерно он бродит по знакомым улицам Сенного околотка. Потом, перейдя Кокушкин мост, возвращается в трактир, где еще утром занял комнату, назвавшись Исаевым.

Голода он не испытывает. Не раздеваясь, ложится, скрещивает на груди руки и пытается заснуть. Но мысли его упрямо возвращаются в шестьдесят третий номер, в комнату сына. Зана-

вески раздернуты. Луна освещает постель. Вот он, стоит, трудно дыша, у двери, не отрывая глаз от стула в углу, ожидая, когда мрак стусится, обратиться во мрак иного рода – мрак присутствия.

Он шепотом повторяет имя сына, стараясь заковать его. Но кого – призрак, себя самого? На ум приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пяты, шепчущий имя умершей женщины, которую он выманивает из глубин ада; имя жены в погребальных одеждах, идущей, выставив перед собой, точно сомнамбула, вялые руки и не отрывая от него мертвых, невидящих глаз. Ни флейты, ни лиры, только слово, одно только слово, повторяемое раз за разом. Когда смерть разрешает от всех уз, остается лишь имя. Крещение: совокупление души с именем, которое она понесет с собой в вечность. Едва дыша, он снова складывает слоги: «Павел».

Голова начинает кружиться.

– Я сейчас пойду, – шепчет он, или ему кажется, что шепчет. – Но я вернусь.

«Я вернусь» – обещание, данное им, когда он впервые отвез мальчика в школу. «Я тебя не брошу». И бросил.

Он засыпает. Во сне он летит вдоль долгого-долгого водопада в омут и отдается падению.

2

Кладбище

Они встречаются на переправе. Он раздражается, увидев в руках Матрены цветы. Цветы маленькие, белые, скромные. Были ль у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы – вот самое меньшее, чего заслуживает его сын.

– Я подумала, что мы сможем их посадить, – говорит женщина, словно прочитав его мысли. – Вот, и совок с собой взяла. Это лядвенец, он цветет поздно.

Действительно, видит он, корни цветов обернуты влажной тряпицей.

Маленький паром перевозит их на Елагин, которого он не посещал уже много лет. Две старухи в черном да они – вот и все пассажиры. День стоит холодный, мглистый. При их приближении по пристани принимается, поскуливая, метаться туда-сюда седой искалеченный пес. Паромщик замахивается на него багром, и пес отбегает на безопасное расстояние. Собачий остров, думает он; не целые ли стаи их кроются между деревьев, ожидая, когда удалятся скорбящие, чтобы можно было разрыть еще мягкую землю?

В сторожку привратника заходит для наведения справок Анна Сергеевна, которую он все еще зовет про себя квартирной хозяйкой, – сам он ожидает снаружи. Потом они долго идут по аллеям мертвых. Он начинает плакать. Почему именно сейчас? – думает он, сердясь на себя. И все же он, пожалуй, рад слезам, их мягкая пелена отделяет его от внешнего мира.

– Вот здесь, мама! – окликает Матрена.

Перед ними могильный холмик, один из многих холмиков с воткнутыми в них крестами из колышков, к которым прибиты дощечки с написанными краской номерами. Он пытается сосредоточиться на одном-единственном номере, на *его* номере, но, едва заведя эти семерки и четверки, ловит себя на мысли: «Никогда больше не стану ставить на семь».

Вот самая та минута, когда ему следует пасть на землю ниц. Но все происходит так вдруг, и земляной холмик этот выглядит настолько чужим, что сердце его не отзывается никаким содроганием чувств. Да и не питает он доверия к череде безразличных рук, через которые прошло тело его сына, пока сам он был еще в Дрездене и ведать ни о чем не ведал, точно баран. Он не готов пока принять роковую связь юноши, продолжающего жить в его памяти, с именем на свидетельстве о смерти и с этим вот номером на дощечке. *Преходящие*, думает он: окончательных, верных номеров не бывает, все преходящие, иначе игра давно бы закончилась. А так колесо крутится, номера приходят в движение, все снова будет хорошо.

Объемом и даже очертаниями холмик схож с лежащим навзничь телом. Он, собственно, и состоит не из чего иного, как из сырой земли, вытесненной деревянным ящиком с рослым молодым человеком внутри. Что-то такое есть в этом, чего он не способен додумать, что-то отталкивающее от себя. Мысль эту замещают саднящие воспоминания о том, чем он занимался в Дрездене, в то время как здесь, в Петербурге, бесчувственное тело тащили в морг, нумеровали, забивали в ящик, везли по городу, опускали в землю. Почему в дрезденском воздухе не явилось и тени предвестия? Или должно погибнуть толпам, прежде чем небеса содрогнутся?

На одной из картин, вновь нахлынувших на него, – он сам в ванной комнате на Лерхенштрассе, подстригающий, глядя в зеркало, бороду. Мерцают латунные краны умывальника, лицо поглощенного делом человека в зеркале кажется лицом незнакомца из прошлого. Вот я и постарел, думает он. Приговор был уже вынесен, и отправленное мне письменное уведомление о нем все приближалось, переходя из рук в руки, да только я ничего о том не знал. «Радость жизни твоей позади» – вот что значилось в приговоре.

«Квартирная хозяйка» выкапывает маленькую лунку в изножье холмика.

– Позвольте, – говорит он, взмахивая рукой, и она отступает.

Расстегивая пальто, расстегивая сюртук, он опускается на колени и неловко клонится вперед, пока не ложится ничком на землю, вытянув руки над головой. Теперь он плачет безудержно, из носа у него течет. Он трется лицом о мокрую землю, зарываясь в нее.

Когда он поднимается, земля остается в его бороде, в бровях, в волосах. Девочка, на которую он не обращает внимания, изумленно глядит на него. Он отряхивает лицо, сморкается, застегивается. Что за жидовский спектакль! – думает он. Да пусть ее смотрит! Пусть видит, что человек не камень! Пусть знает, что нет у него предела!

Некая искра пролетает из его глаз в ее; она в замешательстве отворачивается, прижимается к матери. Назад, в гнездышко! Страшная злоба изливается из него на все живое, а всего пуще на живых детей. Если бы здесь случился сейчас новорожденный младенец, он вырвал бы его из материнских рук и размозжил голову его о камень. Ирод, думает он: как я понимаю Ирода! Да истребится всякий род!

Он поворачивается к ним спиной и уходит. Скоро, оказавшись за пределами новой части кладбища, он бродит между старых надгробий, среди давних мертвецов.

Когда он возвращается, цветы уже посажены.

– И кто станет за ними ухаживать? – угрюмо спрашивает он.

Женщина пожимает плечами. Не ей отвечать на этот вопрос. Теперь его черед, это он должен сказать: «Я буду приходить сюда каждый день», или: «Бог о них позаботится», или же: «Никто за ними ухаживать не станет, они погибнут, и пусть их гибнут».

Мелкие белые цветочки весело колышутся на ветру.

Он стискивает руку женщины.

– Его здесь нет, нет, – говорит он, и голос его ломается.

– Конечно, нет, ведь он не умер, Федор Михайлович.

Тон ее будничен, ободряющ. Более того, в эту минуту она полна материнских чувств не только к дочери, но и к нему, и к Павлу.

Руки у нее маленькие, пальцы тонки и кажутся детскими, но тело округлое. Нелепо – он рад был бы склонить голову к ней на грудь, ощутить эти пальцы в своих волосах.

Невинность рук, вечно рождающаяся заново. Мелькает воспоминание: прикосновение руки, такое интимное в темноте. Но чьей? На свет дневной руки являются, как животные, без стыда, без воспоминаний.

– Я должен записать номер, – говорит он, избегая ее взгляда.

– У меня записан.

Откуда вдруг взялось вожделение? Острое, пылкое: ему хочется схватить эту женщину, заволочь ее за сторожку привратника, задрать ей подол и совокупиться с нею.

Он думает о том, как на поминках люди накидываются на еду и вино. В своем роде восторг, бахвальство пред лицом смерти: что, нас-то не получила!

Они возвращаются к пристани. Пес с опаской – за ними. Матрена хочет его приласкать, но мать ей запрещает. Что-то неладное с этим псом: по спине идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг садится и вгрызается в струпья.

Завтра я ворочусь, обещает он, приду один, мы поговорим. В мысли о возвращении, о том, как он переправится через реку, отыщет дорогу к могиле сына и останется наедине с ним в тумане, таится глухое обещание приключения.

3

Павел

Он сидит в комнате сына, разложив на коленях белую пару, тихо дыша, стараясь освободиться от себя, стараясь вызвать дух сына, определенно еще не покинувший этих пределов.

Проходит время. Из смежной комнаты доносятся сквозь перегородку приглушенные голоса женщины и девочки, звуки, указывающие, что там накрывают на стол. Он откладывает сюртучную пару, легонько стучает в дверь. Голоса обрываются. Он входит.

– Я сейчас пойду, – говорит он.

– А мы, видите, ужинать садимся. Оставайтесь, откушайте с нами.

Пищу она предлагает простую: суп, картошка с маслом и солью.

– Как вышло, что сын стал вашим жильцом? – спустя несколько времени спрашивает он. Он по-прежнему старательно называет покойного сыном, зная, что стоит ему попытаться произнести имя, как его затрясет.

Женщина мешкает с ответом, и он понимает почему. Она могла бы сказать: «Павел был приятный молодой человек, вот мы его и приняли». Но слово «был» мешает ей, оно словно валун поперек тропы. Она не может, глядя ему в лицо, и выговорить это голое слово – ищет окольных путей.

– Его рекомендовал прежний жилец, – произносит она наконец. Что ж, тоже выход.

Она поражает его своей сухостью, сухостью бабочкина крыла. Словно между кожей ее и нижней юбкой, между кожей и черными чулками, которые она, без сомнения, носит, лежит тонкий покров белого пепла, так что если спустить ей платье с плеч, дальше оно уже само соскользнет на пол.

Он хотел бы увидеть ее обнаженной, эту женщину, в последнем цвете ее молодости.

Образованной ее, разумеется, не назовешь, и все же редко доводилось ему слышать столь чистую русскую речь. Словно птица бьется во рту: мягкие перья, мягкие взмахи крыльев.

В дочери нет и следа мягкой сухости матери. Напротив, в ней ощущается нечто текучее, нечто от юной лани, доверчивой, но пугливой, тянущейся, чтобы обнюхать незнакомую руку, и уже подобравшейся, чтоб отмахнуть в сторону. Как это вышло, что мать, столь темноволосая, породила такую белокурую дочь? И при всем том знаки родства их бросаются в глаза: маленькие, почти бесформенные пальчики, темные глаза, блестящие, как у византийских святых, чистые лепные очертания лба, даже общее выражение странной переменчивости.

Замечательна эта способность ребенка сообщать совершенство чертам, которые в родителе его начинают казаться слабой копией!

Девочка на миг поднимает глаза, встречается с его изучающим взглядом и в смущении отворачивается. Его охватывает гневный порыв, желание схватить ее за руку и с силой встряхнуть. «Смотри на меня, дитя! – хочет выкрикнуть он. – Смотри и учись!»

Он роняет нож на пол. И с чувством благодарности сгибается, нащупывая его. Ему все кажется, будто с лица его содрана кожа, будто он против собственной воли принуждает своих собеседниц смотреть на жуткую кровотокающую маску.

Женщина вновь нарушает молчание.

– Матрена с Павлом Александровичем были большие друзья, – сдержанно, но твердо произносит она. – Он ведь учил тебя, верно?

– Да, по-французски и по-немецки. Больше по-французски.

Матрена: имя ей не подходит. Имя старухи, старушонки со сморщенным, точно слива, личиком.

– Я буду рад, если ты возьмешь себе что-нибудь из его вещей, – говорит он. – На память.

И снова девочка поднимает на него недоуменный взгляд, изучая его, как собака изучает незнакомца, вряд ли даже слыша, что он говорит. Что с ней такое? Ответ находится сразу: ей никак не удастся представить меня отцом Павла. Она пытается разглядеть во мне Павла, да все никак не может. За этой мыслью приходит другая: для нее Павел еще не умер. Он продолжает жить в ней, дышать сладким дыханием юности. А моя чернота, это заросшее лицо, эта костлявость, должно быть, так же отвратительны ей, как сама старуха с косой. Смерть, с ее костлявыми бедрами, с зубами в полвершка, с коленками, лязгающими на ходу.

Ему не хочется рассказывать о сыне. Слушать рассказы о нем – да, но не рассказывать. Арифметически говоря, после смерти Павла прошло десять дней. И с каждым из этих дней воспоминания о нем – еще плывшие, быть может, по воздуху, точно осенние листья, – втапывались в грязь или, подхваченные ветром, возносились в слепящие небеса. Только он один и желал собрать и сохранить их. Все остальные держались смертного чина: сначала скорбь, потом забвение. Сказано ведь: не будь забвения, мир быстро обратился бы в огромную библиотеку. Но даже мысль о том, что Павел будет забыт, приводит его в ярость, обращает в старого быка, гневливого, злого, опасного.

Ему хочется слушать рассказы о Павле. И девочка, точно случается чудо, приступает к такому рассказу.

– Павел Александрович, – она бросает взгляд на мать, ища подтверждения, что ей дозволено произносить это мертвое имя, – говорил, что пробудет в Петербурге еще недолго, а после уедет во Францию.

Девочка умолкает. Он раздраженно ждет продолжения.

– Почему ему так хотелось во Францию? – спрашивает она, обращаясь теперь к нему одному. – Что в ней такого, во Франции?

Во Франции?

– Ему хотелось не столько во Францию, сколько прочь из России, – говорит он. – Молодому человеку вообще свойственно гневаться на все, что его окружает. Гневаться и на отечество свое, потому что отечество кажется ему устарелым, отсталым. Новые идеи, новые мысли увлекают его. Он думает, что во Франции, или в Германии, или в Англии его ожидает будущее, которого собственная его страна не даст ему, потому что слишком глупа и безрадостна.

Девочка хмурится. Он говорит «Франция», «отечество», а она слышит нечто иное, нечто скрытое за словами – озлобление.

– Образование мой сын получил скудное, – говорит он, обращаясь уже не к дочери, а к матери. – Мне пришлось раз за разом переводить его из одной школы в другую. Причина тут простая: он не умел вставать поутру. Его невозможно было добудиться. Я, может статься, слишком уж напирала на это. Но и то сказать, не закончив школу, в университет не поступишь.

И ведь нашел же о чем говорить в такое время! Тем не менее он, снова обращаясь к Матрене, продолжает:

– А французский язык его был далеко не хорош, да ты, верно, и сама это заметила. Быть может, он для того и хотел ехать во Францию – подучить французский.

– Он очень много читал, – говорит мать. – Случалось, что лампа у него так и горела всю ночь.

Голос ее остается негромким, ровным.

– Мы не возражали. Он был очень серьезный молодой человек. Мы обе любили Павла Александровича, не правда ли?

Лицо ее, обращенное к дочери, освещает улыбка, которая кажется ему похожей на ласку.

Был. Вот и сказала.

Она сдвигает брови.

– Но вот чего я все-таки не понимаю...

Наступает неловкое молчание. Он не пытается его разрядить. Напротив, он ошетинивается, будто оберегающий своего детеныша волк. Остерегись, думает он, не подвергай себя опасности, не произноси ни слова ему в осуждение! Я – его мать и отец, я его всё и даже более всего! Он готов с громким криком броситься на защиту – но на защиту чего? И кто тот враг, которому он изготовился бросить вызов?

Из глубины его горла прорывается звук, которого он больше не в силах сдержать, – протяжный стон. Он закрывает руками лицо, слезы текут по пальцам.

Он слышит, как женщина встает из-за стола. Он ждет, что и девочка уйдет тоже, но она не уходит.

Погодя он вытирает глаза, сморкается.

– Прости, – говорит он девочке, по-прежнему сидящей напротив, склонив над тарелкой голову.

Он уходит в Павлушину комнату. Прости? Нет, правда в том, что никакой вины он за собою не знает. Напротив, его душит воспаленный гнев на всякого, кто остался жить после смерти его ребенка. И прежде всего на эту девчонку, которую он готов разорвать в куски за одну лишь кротость ее.

Он прилегает на кровать, складывает на груди руки, учащенно дышит, стараясь изгнать беса, который его одолевает. Он сознает, что походит больше всего на труп, что этот его так называемый бес, быть может, не что иное, как собственная его душа, впустую бьющая крыльями. Но в продолжающемся течении жизни ощущается в эту минуту нечто тошное. Лучше быть мертвым. Более того – уничтоженным, истребленным.

Что до жизни потусторонней, в нее он не верит. Он полагает, что вечность ему предстоит коротать на берегу какой-то реки, среди бесчисленного скопища других мертвых душ, ожидающих барки, которая не приплывет никогда. Воздух будет холодным, сырым, черные воды будут плескаться о берег, одежды истлеют на нем и спадут к ногам, и сына он больше никогда не увидит.

На холодных скрещенных на груди пальцах он сызнова пересчитывает дни. Десять. Стало быть, вот что ощущаешь по прошествии десяти дней.

Поэзия могла бы вернуть сына назад. В нем бродит чувство поэмы, которая смогла бы сделать это, ощущение музыки ее. Но он не поэт, скорее собака, потерявшая кость и теперь роющаяся в земле наугад, то там то сям.

Он ждет, когда под дверью погаснет свет, затем тихо покидает квартиру и возвращается в свое пристанище.

Ночью ему снится сон. Он плывет под водой. Синеватый, тусклый свет. Двигается он плавно, поворачивает легко и изящно; шляпы на голове нет; в черном своем сюртуке он ощущает себя черепахой, огромной старой черепахой в ее прирожденной стихии. Вода над ним зыблется, но здесь, в глубине, все спокойно. Он плывет между пучков подводной травы, вялые щупальца водорослей поглаживают его плавники, хотя плавники ли это?

Он знает, что ищет. Плывая, он по временам открывает рот и выпускает нечто подобное крику или призыву. При каждом из них рот заполняет вода, каждый произнесенный им слог заменяется слогом воды. Он все грузнеет, грузнеет, и в конце концов грудь его начинает взрывать донный ил.

Павел лежит на спине. Глаза его закрыты. Волнуемые течением волосы мягки, как у младенца.

Последний вопль, похожий скорее на лай, вырывается из черепашьего горла. Он устремляется к юноше. Он хочет поцеловать его лицо, но, приныкая к губам сына, он уже не питает уверенности, что это поцелуй, а не укус.

Тут он просыпается.

Утро он, повинаясь старой привычке, проводит за столиком в своей комнате. Когда приходит, чтобы прибраться, служанка, он взмахом руки отсылает ее. Но на бумаге так и не возникает ни единого слова. Нет, это не паралич. Сердце его бьется ровно, ум ясен. Он готов в любой миг взять перо, и тогда бумагу покроют слова. И все-таки он боится, что написанное может оказаться творением безумца – отвратительным, непристойным, бешеным, и так страшица за страницей. Он думает о безумии, струящемся по жилам его правой руки, стекающем на бумагу с кончиков его пальцев, с пера. Безумие льется ровным потоком, так что ему не приходится даже окунать перо в чернила ни разу. То, что изливается на бумагу, – это не кровь, не чернила, но нечто едкое, черное, отдающее на свету в противную прозелень. Оно не высыхает на странице, и, если провести по нему пальцем, получишь ощущение сразу и жидкостное, и электрическое. *Так* написанное сможет прочесть и слепой.

После полудня он возвращается на Свечную, в комнату Павла. Он закрывает внутреннюю, ведущую в квартиру дверь, подпирает ее стулом. Затем расправляет на кровати белую пару. При дневном свете видно, как замызгались манжеты. Он внюхивается в подмышки – резкий запах, не ребенка – мужчины. Снова и снова втягивает он в себя этот запах. Сколько раз его можно будет вдохнуть, прежде чем он иссякнет? Если поместить сюртук в стеклянный ящик, удастся ли сохранить и запах тоже?

Он раздевается, облачается в костюм Павла. Сюртук великоват, да и брюки слишком длинные, и все же он не ощущает себя шутом.

Он ложится, складывает на груди руки. Поза театральна, но он готов повиноваться любому позыву, куда бы тот его ни привел. Хотя, в сущности, он ни в какие позывы не верит.

Ему представляется Петербург, широко раскинувшийся под низкими, безжалостными звездами. По небу расстелен свиток со словом, написанным древнееврейскими буквами. Он не может прочесть его, но знает, что в нем – осуждение, проклятие.

За сыном замкнулись врата, окованные семикратно железными полосами. Открыть их – вот труд, возложенный на него.

Мысли, чувства, видения. Верит ли он им? Они приходят из глубины его сердца, но разумных причин для доверия сердцу существует не больше, чем причин для доверия разуму.

Я отступаю, думает он, непонятно откуда, непонятно куда, и когда отступление закончится, что останется от меня?

Он представляет себе, как возвращается назад, в яйцо, по крайности во что-то такое же гладкое, прохладное, серое. Нет, может быть, не яйцо: возможно, это душа, возможно, так вот душа-то и выглядит.

Что-то шуршит под кроватью. Мышь, что ли, отправилась по своим делам? Пусть ее. Он переворачивается на живот, натягивает белый сюртук на лицо, вдыхает запах.

С того дня, как пришло известие о смерти сына, что-то все угасает в нем, что-то, обозначаемое им словом «крепость». Это ведь я умер, думает он; или, вернее, я умер, а смерть моя где-то подзадержалась. Он чувствует, что тело его сохраняет силу, здоровье, что добровольно оно не сдастся. Грудь словно бочка с прочными скрепами. Сердце – еще долго способное биться. И тем не менее он вырван из времени человеческого. Поток, который нес его, продолжает движение вперед, поток сохранил направление, даже цель, однако целью этой уже не является жизнь. Мертвый поток тащит его мертвыми водами.

Он засыпает. Просыпается он в темноте, посреди безмолвного мира. Зажигает спичку, пытаясь собраться с разбредшимися мыслями. За полночь. Где же это он был?

Он забирается под покрывало и погружается в урывчатый сон. Поутру, направляясь в уборную, смрадный, всклокоченный, он сталкивается с Анной Сергеевной. На ней платочек, большие боты, ни дать ни взять торговка с рынка. Она глядит на него с изумлением.

– Я заснул, очень устал за день, – объясняет он.

Впрочем, причина ее изумления не в этом. Причина в белом костюме, которого он так и не снял.

– Если не возражаете, я поживу до отъезда в комнате Павла, – продолжает он. – Всего несколько дней.

– Сейчас говорить об этом не время, – отвечает она. – Я спешу.

Ясно, что предложение ей не по душе. Она не дает согласия. Да только он заплатил, и тут уж она бессильна.

Это утро он проводит за столом в комнате Павла. Он уже не притворяется, будто занят сочинительством. Мысли его устремлены к смертной минуте Павла. И невыносимейшая среди них – мысль о том, что в последнюю, в малейшую долю последнего мига падения Павел отчетливо сознавал, что ему уже не спастись, что он погиб. Он хочет верить, что от этого сознания, более ужасного, чем даже сама гибель, Павла защитили стремительность, смятение полета, способность разума дурманить себя, защищаясь от всего, что в огромности своей невыносимо. Всем сердцем он жаждет уверовать в это. И в то же самое время понимает, что жаждет этой веры, дабы одурманить себя и защититься от сознания того, что Павел, падая, сознавал все.

В такие минуты он уже не отличает себя от Павла. Они сливаются в одного человека, и человек этот – ни больше ни меньше как мысль: Павел, мыслящий в нем, он, мыслящий в Павле. Мысль сохраняет Павла живым, заставляя его повиснуть в воздухе.

Вот от чего хочет он защитить своего сына – от знания, что тот мертв. Пока я живу, думает он, пусть я буду тем, кто знает! Каких бы движений воли это ни требовало, пусть именно я буду рассекающим воздух мыслящим существом.

Сидя с закрытыми глазами и стиснутыми кулаками за столом, он пытается оградить Павла от смертельного знания. Он воображает себя Тритоном с пьядца Барберини в Риме, тем, что прижимает к губам раковину, из которой вечно бьет хрустальная струя. День и ночь он вдыхает жизнь в воду. Отлитые в бронзе жилы на шее его напряжены до звона.

4

Белая пара

Наступил ноябрь, лег первый снег. Небо наполнили стаи птиц, летящих на юг.

Он перебрался в комнату Павла и за несколько дней влился в жизнь этого дома. Дети больше не прерывают игр, чтобы оглядеть его, проходящего мимо, но голос все еще понижают. Они знают, кто он. А кто он? Неудачник, отец неудачника.

Каждый день он повторяет себе, что должен поехать на Елагин навестить могилу. Однако не едет.

Он пишет в Дрезден, жене. Письмам его, полным заверений, недостает истинного чувства.

Утра он проводит в комнате, совершенно пустые утра, что, впрочем, понемногу начинает доставлять ему разлагающее, мертвящее удовольствие. После полудня он бродит по улицам, избегая близких к Мещанской и Вознесенскому проспекту мест, где его могут узнать, сидит по часу в чайной, всегда одной и той же.

В Дрездене он пристрастился к чтению русских газет. Но теперь интерес к наружному миру утрачен. Его мир сузился и целиком умещается у него в груди.

Чтобы не досаждать Анне Сергеевне, он возвращается на квартиру лишь после наступления сумерек. Пока его не зовут к ужину, он тихо сидит в комнате, принадлежащей и не принадлежащей ему.

Он сидит на кровати, разложив на коленях белую пару. Никто его здесь не видит. Ничто не переменялось. Он ощущает идущие от сердца его к сердцу сына нити любви так явственно, почти физически, как если б они свились в веревку, которую можно потрогать руками. Он чувствует, как эта веревка тянет и выкручивает его сердце. Он громко стонет. «Да!» – шепчет он, приветствуя боль, ему хочется, чтобы выкручивание длилось и дальше.

Дверь за его спиной открывается. Сминая руками одежду Павла, он испуганно оборачивается, сторбленный, безобразный, со слезами на глазах.

– Хотите поесть? – спрашивает девочка.

– Спасибо, я лучше побуду сегодня один.

Погода она возвращается.

– Может быть, чаю? Я могу принести.

Она приносит чайник, сахарницу, чашку, торжественно расставленные по подносу.

– Это Павла Александровича костюм?

Он откладывает сюртучную пару в сторону, кивает.

Матрена стоит перед ним на расстоянии вытянутой руки, наблюдая, как он пьет чай. Его в который раз поражают чистые линии лба и скул, темные, влажные глаза, темные брови и белокурые, почти льняные волосы. Он ощущает прилив чувств противоположных, как будто две волны плещут одна о другую: потребность защитить эту девочку и потребность наотмашь ударить ее за то, что она жива.

Хорошо, что я прячусь, думает он. Такому, как сейчас, мне среди людей делать нечего.

Он ждет, когда Матрена что-нибудь скажет. Ему хочется услышать ее голос. Конечно, предъявлять требования к ребенку – поступок непозволительный, но он их все-таки предъявляет. Он поднимает на нее взгляд. Ничего прикровенного нет в этом взгляде. Полная обнаженность.

Ей удастся выдержать этот взгляд один только миг, затем она отворачивается, неуверенно отступает, приседает в странном, неловком реверансе и выскакивает из комнаты.

Он сознает, даже с самого начала этого эпизода, что не забудет его и, быть может, когда-нибудь вставит, переиначив, в одну из своих книг. Нечто подобное стыду пронзает его – стыду, впрочем, поверхностному и недолгому. Сначала в сочинениях его, а там и в жизни стыд, похоже, утратил былую свою силу, сменившись пустым, безнравственным безволием, которого никакие крайности не страшат. Вот как если бы он видел краем глаза тучи, летящие на него с ужасающей скоростью грозовые тучи. Они способны смести все, что преградит им путь. И он испуганно, но тоже и возбужденно ждет, когда разразится гроза.

В одиннадцать по его часам он без предупреждения выходит из комнаты. Ниша, в которой спят Матрена с матерью, занавешена, но Анна Сергеевна еще не легла, она сидит за столом и что-то шьет при свете лампы. Он переходит комнату и садится напротив нее.

Ловкие пальцы, точные движения. В Сибири он выучился шить, нужда заставила, но не с таким плавным изяществом. В его пальцах игла выглядит диковиной, стрелой из Лилипутии.

– Свет, пожалуй что слабоват для такой тонкой работы, – негромко произносит он.

Она наклоняет голову, как бы говоря: «Я слышу», но также: «Что ж тут поделаешь?»

– Матрена – единственное ваше дитя?

Она взглядывает ему прямо в лицо. Ему нравится эта прямота. Нравятся ее глаза, нимало не ласковые.

– У нее был братик, но он умер совсем маленьким.

– Значит, вы знаете.

– Нет, не знаю.

Что она хочет сказать? Что смерть младенца сносится легче? Она не объясняет.

– Если позволите, я куплю вам лампу посильнее. Грех так рано портить глаза.

Она снова кивает, словно отвечая: «Спасибо за участие, но я не стану ловить вас на слове».

Так рано: а *он* что хотел этим сказать?

Он уже несколько времени ясно сознает, что не станет удерживать слов, которые приходят следом.

– Меня мучает потребность поговорить о сыне, – произносит он, – а еще пуще – послушать, как о нем говорят.

– Он был милым юношей, – отзывается она. – Жаль, что я знала его так недолго. – И словно поняв, что этого мало: – Обычно он что-нибудь читал Матрене перед сном. А она так целый день ждала этого. Они очень нежно относились друг к другу.

– А что они читали?

– Помнится, «Золотого петушка», Крылова. Заучивали французские стихи. Она и по сей час помнит одно-два стихотворения.

– Хорошо, что у вас в доме есть книги. – Он поводит рукой в сторону полки, на которой стоит двадцать-тридцать томов. – То есть хорошо для подрастающего ребенка.

– Муж был печатником. Работал в типографии. Он много читал, это был его отдых. Тут только часть его книг. Пока он был жив, в квартире, случалось, повернуться из-за них было негде. У нас просто нет места, чтобы держать столько книг. – И, нерешительно помолчав, она прибавляет: – У нас и ваша была. «Бедные люди». Муж ее очень любил.

Повисает молчание. Лампа начинает мигать. Женщина приворачивает фитиль, откладывает шитье. Дальние углы комнаты тонут во мраке.

– Мне как-то пришлось попросить Павла Александровича не собирать у себя друзей вечерами, – говорит она. – Теперь я жалею об этом. В тот раз мы никак не могли уснуть, они все разговаривали и пили до поздней ночи. Среди его друзей попадались люди довольно грубые.

– Да, в дружбе он был демократом. Умел разговаривать с простыми людьми о том, что им близко. Ведь простые люди жаждут новых идей. Он никогда не говорил с ними свысока.

– Как и с Матрешей.

Свет еще тускнеет, фитиль начинает чадить. Словесный бальзам, думает он, который втираешь в язву. Вот только хочу ли я исцелиться?

– Павел, – спешит продолжить он, – при всей его молодости был человек положительный. Он размышлял о России, об обстоятельствах русской жизни. Его заботило многое из того, что важно для простого народа.

Долгая пауза. Дань, думает он, я отдаю дань, пусть недостаточную, пусть запоздалую, и помогаюсь подобной же дани от нее. Да почему бы и нет!

– Мне все не дают покоя ваши слова, позавчерашние, помните? – задумчиво произносит она. – Зачем вы вдруг стали рассказывать нам о необычайной сонливости Павла?

– Зачем? Затем, что, какой бы мелочью это теперь ни казалось, она-то и испортила ему жизнь. Оттого что он подолгу спал по утрам, мне пришлось несколько раз забирать его из одной школы и отдавать в другую. Вот он и не получил аттестата. И в конце концов оказался здесь, в Петербурге, как-то прибил к студентам, с которыми истинно общего у него было мало и к которым он, в сущности говоря, не принадлежал. И причиной тут вовсе не лень его. Его просто невозможно было растормошить ничем – ни криком, ни тряской, ни угрозами, ни мольбами. Все равно что медведя будить, вставшего в спячку медведя!

– Это я понимаю. Есть дети, совсем неспособные прижиться в школе. Но я, собственно, о другом хотела спросить. Простите мои слова, но, когда вы все это рассказывали, меня поразило, что вы, кажется, продолжаете сердиться на него.

– Как же мне не сердиться! Мать его умерла, когда ему было пятнадцать, не забывайте. Легко ли было растить сына одному? Или у меня дела другого не было, как уговаривать мальчишку вылезти из постели? Если бы Павел закончил школу, как остальные, ничего бы этого не случилось.

– Этого?

Он раздраженно взмахивает рукой, словно отменяя квартиру, Петербург и даже огромный темный полог ночи над ними.

Она смотрит на него спокойно и твердо, и под взглядом ее он постепенно постигает смысл своих слов. Дрожь пронизывает его, начинаясь в правой руке. Он встает и, сцепив за спиной руки, принимается мерить шагами комнату. Нечто подступает к нему, нечто такое, чего он старается не определять. Он пытается заговорить, но голос звучит, точно у подавленного. Ведущ себя совершенно как персонаж из книги, думает он. Но и насмешка над собой не помогает. Он вжимает голову в плечи. И начинает беззвучно плакать.

Происходи все это в романе, женщина отозвалась бы на его горе приливом сострадания. Эта не отзывается. В мерцающем свете она сидит за столом с шитьем на коленях, отвернув в сторону лицо. Поздно уже, никто их не видит, девочка спит.

Чертovo сердце! – говорит он себе. Чертova чувствительность! Не сердце его пробный камень и не чувства, бушующие в нем, но смерть и чувства мертвого мальчика!

И в этот миг его посещает ясное из видений: Павел, улыбающийся ему, его раздражительности, его слезам, его театральности и тому, что за нею кроется. В улыбке Павла нет презрения – напротив, дружелюбие и прощение. Он знает! – думает он. Знает и ничего не имеет против! Волна благодарности и восторга омывает его. Уже теперь-то определенно будет припадок – такова его следующая мысль, однако он оставляет ее без внимания. Уже не сдерживая слез, он ощупью добирается до стола, обхватывает руками голову и, мерно подвывая, дает волю своему горю.

Никто не гладит его по голове, никто не шепчет на ухо утешительных слов. Но когда он наконец поднимает, нащупывая платок, лицо, перед ним, внимательно вглядываясь, стоит Матрена. На ней белая ночная рубашка, расчесанные волосы лежат по плечам. Взгляд его невольно задерживается на ее едва припухлой груди. Он пытается улыбнуться ей, но выражение ее не

меняется. И она тоже знает, думает он. Знает, где правда, где притворство, или же хочет узнать, проникая в него взглядом.

Он собирается с мыслями. Глаза, застланные последними слезами, прикованы к девочке. В этот миг что-то проходит меж ними – что-то, от чего он дергается, точно пробитый каленым железом. Но мать обнимает ее за плечи, они обмениваются несколькими тихими словами, и девочка возвращается в постель.

5

Максимов

– Доброе утро. Я желал бы получить (он сам удивляется ровности своего тона) вещи моего сына. В прошлом месяце он стал жертвой несчастного случая, и кое-что из вещей его было взято полицией.

Он разворачивает расписку, протягивает ее через барьер. Расписка датирована днем смерти Павла или следующим – зависит от того, до или после полуночи испустил он дух; в ней обозначены просто «письма и иные бумаги».

Письмоводитель с сомнением оглядывает расписку.

– Октября двенадцатого. Это ведь меньше месяца тому. Дело еще не закрыто.

– Сколько же времени потребуется, чтобы его закрыть?

– Месяца два, может быть, а то и три. Оно от обстоятельств дела зависит.

– В этом деле нет никаких обстоятельств. Преступления совершено не было.

Держа расписку в вытянутой руке, письмоводитель покидает приемную. Возвращается он с выражением куда более серьезным.

– Фамилия ваша, сударь?..

– Исаев. Отец.

– Ну да, господин Исаев. Будьте столь любезны, присядьте, вами скоро займутся.

Сердце его падает. Он надеялся просто забрать имущество Павла и уйти отсюда. Меньше всего ему хотелось бы привлекать к себе внимание полиции.

– Долго я ждать не могу, – отрывисто сообщает он.

– Да-да, сударь, следователь по этому делу скоро вас примет. Вы присаживайтесь, располагайтесь поудобнее.

Он смотрит на часы, опускается на скамью и в притворном нетерпении оглядывается по сторонам. Час ранний, кроме него, в приемной находится еще одно только лицо – молодой человек в покрытом пятнами балахоне маляра. Сидит это лицо прямо, словно аршин проглотило, и, по видимости, спит. Глаза закрыты, челюсть слегка отвисла, из горла истекает негромкий рочочущий звук.

Исаев. Тревога, охватившая его, не стихает. Не оставить ли ему эту глупую выдумку теперь же, пока он в ней не увяз? Но как объясниться? «Прошу меня извинить, сударь, произошла небольшая ошибка. Дело не совсем таково, каким кажется. Я, видите ли, не то чтобы Исаев. Настоящий Исаев, имя которого я принял по причинам характера частного, причинам, в кои я в эту минуту и в этом месте входить не желаю, – причинам, впрочем, более чем достойным, вполне достойным, настоящий, стало быть, Исаев скончался тому назад несколько лет. Я же вырастил Павла Исаева как своего сына и люблю его, как если бы он был собственной моей плотью и кровью. Вот в этом смысле мы с ним носим одно имя или должны были бы носить. Немногие бумаги, оставшиеся после него, для меня драгоценны. Поэтому я к вам и пришел». Положим, он сделает это непрощеное признание и оно никаких подозрений не пробудит. Но что, если они намереваются с минуты на минуту вернуть ему бумаги, а выслушав его, пойдут на попятную? «Эге, это как же получается? Получается, что в деле имеются обстоятельства, нами не замеченные?»

Пока он сидит так в душной комнате с горящей в углу печкой, не зная, на что решиться – признаться ли или и дальше исполнять принятую роль, – извлекая то и дело часы и сердито на них поглядывая, стараясь походить на нетерпеливого поверенного в делах, его понемногу охватывает предчувствие припадка, и в то же время он сознает, что припадок был бы уловкой, да и самой детской к тому же уловкой, которая, впрочем, позволила бы ему выпутаться из

теперешнего затруднительного положения, а между тем где-то пообок этой мысли ложится тень мучительного воспоминания: определенно он уже был здесь прежде, вот в этой самой приемной или в похожей, и был тоже припадок или обморок! Но отчего этот эпизод помнится ему так смутно? И какое имеет отношение к воспоминанию запах свежей краски?

– Нет, это слишком!

Восклицание его отзывается в комнате эхом. Дремлющий маляр подскакивает, письмоводитель смотрит в удивлении. Он старается скрыть свое замешательство.

– Я, собственно, о том, – говорит он уже не так громко, – что не могу больше ждать, у меня назначена важная встреча. Я вам, помнится, говорил.

Он встает, надевает пальто, но тут письмоводитель окликает его:

– Вас желает видеть советник Максимов, сударь.

В кабинете, куда его проводят, скамьи с высокой спинкой нет. Если не считать большого обитого клеенкой дивана, вся обстановка состоит из безликой казенной мебели. Советник Максимов, судебный следователь по делу Павла, лысый человек с расплывшейся бабьей фигурой, очень суетится, усаживая его поудобнее, затем открывает лежащее перед ним на столе пухлое дело и несколько времени читает, покачивая головой и негромко повторяя как бы про себя: «Грустная история... грустная».

Наконец он отрывает глаза от бумаг.

– Примите искреннейшие мои соболезнования, господин Исаев.

Исаев. Пора на что-то решиться!

– Благодарю вас. Я пришел просить о возвращении мне бумаг моего сына. Я понимаю, дело еще не закрыто, однако не вижу, какой интерес могут представлять частные бумаги для вашего департамента и что в них может быть важного для... для следствия.

– Да, разумеется, разумеется! Частные бумаги, как вы изволили выразиться. Однако скажите, что вы разумеете, в точности то есть, когда говорите «бумаги»? Что их, так сказать, образует?

Глаза Максимова отливают каким-то жидким, водянистым блеском, ресницы белые, точно у кошки.

– Как же я могу вам сказать? Их забрали из комнаты моего сына, я их покамест не видел. Ну, письма, документы...

– Вы их покамест не видели, а между тем уверены, что интереса для нас они не представляют. Что ж, понимаю. Понимаю веру отца в то, что бумаги его сына есть дело частное или, по крайности, семейное. Разумеется! Тем не менее производится следствие – простая формальность, быть может, но, однако ж, возбужденное законным порядком, стало быть, от него так просто, прищелкнув пальцами, не отмахнешься, и бумаги эти суть часть следственного дела.

Так что...

Он составляет кончики пальцев крышей, опускает голову и, по всей видимости, погружается в глубокие размышления. Когда он вновь поднимает лицо, улыбка на нем отсутствует, ее сменило выражение чрезвычайной решимости.

– Сдается мне, – говорит он, – да, сдается, я отыскал выход, который и нас удовлетворит, и вас устроит. Поскольку дело не закрыто – а по правде-то сказать, еще и не открыто толком, – вернуть вам бумаги как таковые я не могу. Однако я позволю вам просмотреть их. Потому что, тут нельзя не согласиться с вами, отнять их у семьи, переживающей такую трагедию, – значит поступить не по совести, совсем не по совести.

Резким, пугающим жестом, точно игрок, выкладывающий карту, которая бьет все остальные, Максимов выхватывает из дела один-единственный листок и кладет его перед собеседником.

Это список фамилий, русских фамилий, написанных латинскими буквами, все начинается на «А».

– Здесь какая-то ошибка. Это писал не мой сын.

– Не ваш сын? Хм. – Максимов забирает листок назад, разглядывает его. – А нет ли у вас, господин Исаев, каких-либо мыслей относительно того, кто это мог написать?

– Рука мне незнакома, это не моего сына рука.

Максимов вытягивает из самого низа дела другой листок и подвигает его по столу.

– А это?

Этого ему и читать не нужно. Как глупо! – думает он. Голова вдруг начинает кружиться. Откуда-то издалека он слышит собственный голос, произносящий:

– Это письмо от меня. Я не Исаев. Я просто принял его имя...

Максимов помахивает ладошкой, отгоняя, будто муху, его слова, требуя, чтобы он замолчал, но он, совладав с головокружением, завершает свое объявление.

– Я принял это имя, чтобы не усложнять дела – иных причин не было. Павел Александрович Исаев – мой приемный сын, единственное дитя моей покойной жены. Однако для меня он – мой сын. Кроме меня, у него никого в мире не было.

Максимов берет из его ослабевших пальцев письмо, перечитывает. Это последнее, посланное из Дрездена письмо, письмо, в котором он корит Павла за чрезмерные траты. До чего унижительно сидеть здесь и смотреть, как это письмо читает человек посторонний! Унижительно было даже писать его! Но как может знать человек, *как он может знать*, какой именно день будет последним?

– «Твой любящий отец Федор Михайлович Достоевский», – бормочет следователь, поднимая на него взгляд. – Стало быть, вы, выражаясь со всей определенностью, отнюдь не Исаев, а Достоевский.

– Да. Это была уловка, ошибка, глупая, но безвредная, и я о ней сожалею.

– Понимаю. И тем не менее вы пришли сюда, выдавая себя... впрочем, так ли уж нужно нам прибегать к слову столь некрасивому? Хорошо, давайте покамест на краткий срок воспользуемся им за неимением лучшего, но, так сказать, с осторожностью – выдавая себя за отца покойного Павла Александровича Исаева, с прошением вернуть вам принадлежавшую ему собственность, между тем как вы, по справедливости говоря, совсем не тот человек.

– Я уже сказал вам, это было ошибкой, о которой я горько сожалею. И все же покойный – *мой* сын, да и по закону я являюсь его назначенным должным порядком опекуном.

– Хм. Из бумаг видно, что при кончине пасынка вашего ему был двадцать один год, двадцать два без малого. Так что, строго говоря, судебное решение об опекунстве силу уже утратило. Человек двадцати двух лет сам себе господин, не правда ли? Вольная птица с точки зрения закона.

Насмешка окончательно выводит его из себя. Он встает.

– Я не для того пришел сюда, чтобы обсуждать с посторонним человеком дела моего сына, – звенящим голосом произносит он. – Если вам угодно держать эти бумаги у себя, так и скажите, я предприму другие шаги.

– Держать у себя? Разумеется, нет! Да вы сядьте, сударь, прошу вас, сядьте! Разумеется, нет! Совсем напротив, я только рад буду, коли вы их просмотрите, оно и вам на пользу пойдет, и нам тоже. Вы ведь нас можете на путь, так сказать, наставить, а мы это ценим, и высоко ценим. Давайте-ка вот с этих начнем.

Максимов раскладывает перед ним с полдюжины исписанных кругом листков – полный список имен, которого первую страницу, на «А», он уже видел.

– Стало быть, не вашего сына рука?

– Нет.

– Нет, это мы сами знаем. А чьей она может быть, никаких соображений не имеете?

– Рука мне незнакома.

– Это написано молодой женщиной, ныне пребывающей за границей. Имя ее значения не имеет, хотя, если я его назову, вы, пожалуй, удивитесь. Она состоит в друзьях и помощниках у господина по фамилии Нечаев, у Сергея Геннадиевича Нечаева. Это имя вам о чем-нибудь говорит?

– Лично я с Нечаевым незнаком и очень сомневаюсь в том, чтобы и сын мой водил с ним знакомство. Нечаев – заговорщик и бунтовщик, цели которого я полностью отвергаю.

– Вы говорите, что лично с ним незнакомы. И однако ж вы с ним встречались.

– Нет, не встречался. Я присутствовал на одном открытом конгрессе в Швейцарии, в Женеве, там выступали многие, и Нечаев в их числе. Мы с ним находились в одном зале – к этому наше знакомство и сводится.

– Это когда же было?

– Осенью шестьдесят седьмого года. Конгресс был организован Лигой мира и свободы, как именуют себя эти люди. Я отправился туда не таясь, как русский патриот, из желания услышать, что могут сказать о России все стороны. То обстоятельство, что я выслушал речь этого молодого человека, Нечаева, вовсе не делает меня его сторонником. Напротив, я, позвольте повторить, отвергаю все, за что он ратует, о чем я и высказывался неоднократно, как публично, так и частным образом.

– Вы, стало, и счастье народа отвергаете? Разве Нечаев ратует не за счастье народа? Не за него борется?

– Я не понимаю смысла вопросов ваших. Нечаев ратует прежде всего и главным образом за насильственное уничтожение всех общественных институтов во имя принципа равенства – равного счастья для всех, а не получится счастья, так равного ничтожества. Как-то обосновать этот принцип он даже и не пытается. Он, как мне представляется, вообще отрицает всякого рода обоснования, почитая их за пустую трату времени, бесполезное умствование. Прошу вас, не ищите связей между Нечаевым и мной.

– Хорошо, выговор ваш я принимаю. Хотя я, должен прибавить, несколько удивлен – я не назвал бы вас таким уж ревнителем принципов. Но к делу, к делу. Перед вами лежит список имен – вам из них знакомы какие-нибудь?

– Некоторые знакомы. Но таких совсем немного.

– Это список людей, которых, как только будет подан сигнал, надлежит уничтожить именем «Народной расправы», а это, как вам, полагаю, известно, созданная Нечаевым подрывная организация. Убийства эти предположительно подстрекнут всеобщий бунт и приведут тем самым к ниспровержению государственной власти. Загляните в конец, там есть дополнение, в котором перечислены целые классы людей, подлежащие истреблению после падения государства. Вся высшая судебная власть, все офицеры полиции, служащие Третьего отделения от капитана и выше. Список этот найден среди бумаг вашего сына.

Сообщив эти сведения, Максимов откинулся в кресле и дружески улыбнулся.

– И отсюда следует, что мой сын был убийцей?

– Нет, разумеется! Да и как бы он мог быть им, если никто еще не убит? Перед вами лежит, так сказать, черновик, умозрительный прожект. По правде говоря, мое мнение – мнение частного то есть лица – таково, что любой молодой человек, за что-то разобидевшийся на общество, способен был бы состряпать подобный же список, потратив на это занятие не более одного вечера, – из желания, быть может, покрасоваться перед весьма юной особой, которой он его надиктовал, выказать перед нею свою власть над жизнью и смертью, власть вполне фантастическую. Тем не менее покушение, заговор с целью покушения, угрозы в адрес официальных лиц – это все дела серьезные, вы не находите?

– Весьма серьезные. Ваш долг совершенно ясен, и в советах моих вы не нуждаетесь. Если Нечаев когда-нибудь возвратится на родину, вы обязаны арестовать его. А сын мой – что вы с ним можете сделать? Арестовать и его?

– Хе-хе! Шутить изволите, Федор Михайлович! Нет, арестовать его мы не можем, даже ежели бы и захотели, поскольку он удалился теперь в лучший мир. Однако кое-что он в этом оставил и нам. Бумаги, и в количествах гораздо больших, чем вправе себе позволить любой уважающий себя заговорщик. Остались также кое-какие вопросы. Такой, к примеру: почему он лишил себя жизни? Позвольте мне вас спросить, что вы об этом предмете думаете: почему он лишил себя жизни?

Комната плывет перед его глазами.

– Мой сын не лишал себя жизни, – шепчет он. – Вы ничего в нем не поняли.

– Разумеется, нет! Ни в пасынке вашем, ни в превратностях жизни его я ничегошеньки не понимаю и понять не претендую. Что я надеюсь понять, в смысле существенном, в следовательском то есть смысле, так это причины, приведшие его к смерти. Скажем, угрожал ли ему кто-нибудь? Быть может, кто-то из сообщников пригрозил, что выдаст его? Или боязнь последствий до того его умучила, что он наложил на себя руки? А может быть, он этого и не делал вовсе? Не исключено ведь, что по причинам, о коих мы пока не осведомлены, его сочли изменником делу «Народной расправы» и убили столь решительно неприятным способом? Вот какие вопросы у меня в голове-то вертятся. Я оттого и ухватился за приятную возможность побеседовать с вами, Федор Михайлович. Ведь если вы его не знаете, вы, его приемный отец и давнишний попечитель, в отсутствие настоящих-то родителей, то кто же тогда?

Ну-с, и потом, имеется еще вопрос о пьянстве его. Всегда ли он пил помногу или пристрастился недавно, не выдержав гнета, так сказать, заговорщицкой жизни?

– Не понимаю. О каком пьянстве вы говорите?

– Да ведь он в ночь своей смерти очень много выпил. Вы не знали?

Он немо качает головой.

– Да, Федор Михайлович, я вижу, вы многого не знаете. Давайте говорить начистоту. Я, как услышал, что вы явились требовать бумаги пасынка вашего, в самое, можно сказать, логово льва вступили, так и уверовал или почти уверовал, что у вас и подозрений даже о чем-либо неподобающем не имеется. Потому что, знай вы о связи между вашим пасынком и нечаевской шайкой, вы бы уж точно к нам не пришли. А когда бы и пришли, то, по крайней-то мере, с самого начала определенно бы и объявили, что вам только переписка между вами и пасынком нужна, более ничего-с. Вы понимаете?

– Да...

– Ну-с, а поскольку письма от пасынка вашего и так уже у вас, стало быть, нужны вам только письма, вами писанные. Но почему же...

– Письма, да, письма и все прочие бумаги частного характера. Ведь сына моего вы все равно теперь преследовать не в состоянии.

– Ваша правда... Такая трагедия... Но вот о бумагах этих, «частного», как вы изволили выразиться, характера... Сдается мне, в нынешних обстоятельствах уж и не понять, что это, собственно, такое означает – «частного характера». Разумеется, мертвых должно уважать, и права вашего пасынка, которых сам он уже отстоять не может, нам теперь защищать надлежит – в настоящем случае право на частную жизнь. Каждый из нас, пожалуй, поежился бы, представив, как после кончины нашей некто, нимало нам не знакомый, принимается копаться в наших пожитках, ящики в столе выдвигать, ломать печати, читать интимные письма. С другой же стороны, в некоторых случаях мы, пожалуй, и предпочли бы, чтобы службу эту, неприятную, но необходимую, сослужил бы нам человек посторонний и никакого интереса к нам не питающий. Легко ли помыслить, что самые потаенные наши делишки вылезут на свет божий, когда чувства близких наших еще растревожены, и предстанут во всей их красе перед ничего не подозревавшей женой, или дочерью, или сестрой? В некоторых отношениях оно и лучше было бы, если б ими занялся человек сторонний, которого мы оскорбить не можем и потому, что мы для него звук пустой, и потому, что он, по роду занятий своих, с оскорблениями обвыкся.

Все это, разумеется, праздный в некотором смысле разговор, потому как в окончательном-то итоге распоряжается закон, закон наследования: тот, кому надлежит наследовать имущество, тот и получает и частные бумаги, и все прочее. А ежели человек умирает, о наследнике не распорядившись, тогда в силу вступает кровное родство, и уж оно определяет все, что определить надлежит.

Стало быть, семейные письма, как мы с вами согласились, это бумаги частные и потому обращения требуют самого осмотрительного. Иное дело, что заграничную переписку да еще и переписку характера подстрекательского – тот же список людей, намеченных для убийства, – частными бумагами никак уж не назовешь. Но вот, однако... минуточку-с... вот случай совсем уж прелюбопытнейший.

Он принимается перебирать в деле какие-то листки, неприятно барабана пальцами по столу.

– Прелюбопытнейший случай, прелюбопытнейший, – бормочет он, перебирая бумаги, и вдруг объявляет: – Рассказец-с! Как нам с рассказом прикажете поступить, с плодом, так сказать, литературной фантазии? Частное это дело или не частное, рассказец-то, как оно, по-вашему?

– Да уж, конечно, частное, и даже до чрезвычайности – частное дело автора, пока сочинение его не станет достоянием публики.

Максимов бросает на него лукавый взгляд и подталкивает через стол то, что перед этим просматривал. Это школьная, с линованными листами тетрадь. Он с первого взгляда узнает клонящийся почерк, длинные завитки и тире. «В девственной снежной пустыне...» – читает он и сразу испытывает желание переправить эту избитую фразу. Что-то о человеке, бредущем под открытым небом, о холоде. Покачав головой, он закрывает тетрадку.

Максимов тянется и мягко отнимает ее. Полистав, он находит нужное ему место и вторично подвигает тетрадь через стол.

– Прочтите отсюда, – говорит он, – всего страницу-другую. Наш герой – молодой человек, осужденный за участие в противоправительственном заговоре и сосланный в Сибирь. Из каторги он бежит и в дальнейшем попадает в дом некоего помещика, там его прячет и кормит молодая крестьянка, кухонная прислуга. Как-то вечером помещик, этакий, знаете, вульгарный сластолюбец, принимается грубо за нею ухаживать. Вот это-то место я и прошу вас прочесть.

Он снова качает головой.

Максимов тянет тетрадку к себе.

– Зрелище становится для молодого человека невыносимым, он покидает свое укрытие и вмешивается в происходящее.

Максимов начинает читать вслух:

– «Карамзин...» – это помещик – «...повернулся к нему и прошипел: „Ты кто таков есть? Что здесь делаешь?“ Тут он разглядел серую куртку и разбитые ножные кандалы. „А, ты из этих! – воскликнул он. – Так я же с тобой управлюсь!“ Он вскочил и повалил прочь из комнаты». Хорошее словцо нашел, «повалил», мне нравится. Помещик у него изображен человеком с бульдожьей физиономией, этакий скот с волосатыми ушами и короткими, жирными ножками. Неудивительно, что юный герой наш оскорбился: уродливая старость тянет лапы к девственной красоте! Он хватает стоящий за печью топор. «Со всей силой, содрогаясь от отвращения, он опустил топор на бледный череп старика. Колени Карамзина подломились. Громко, точно животное, всхрапнув, он рухнул лицом на высокобленный кухонный пол, широко раскинув руки с подергивающимися пальцами, и затих. Сергей...» – таково имя нашего героя – «...стоял, точно прикованный к месту, с окровавленным топором в руке, неспособный поверить в то, что он совершил. Но Марфа...» – а это, стало быть, героиня – «...с присутствием духа, для него неожиданным, схватила мокрую тряпку и подсунула ее под затылок убитого, чтобы не растекалась кровь». Недурственная реалистическая черта, вы не находите?

Далее идут все больше обрывки, я их читать не стану. Вероятно, после устранения непристойного Карамзина вдохновение автора стало иссякать. Сергей с Марфой выволакивают тело и спускают его в заброшенный колодец. Затем они уходят вдвоем в ночь – «полные решимости», так прямо и сказано. Не вполне понятно, намереваются ли они удариться в бега или нет. Позвольте, однако ж, упомянуть последнюю частность. Топор Сергей не бросает. Напротив, берет с собой. Для чего? – спрашивает Марфа. Ответ его я вам процитирую: «Для того, что это оружие русского народа, орудие нашей защиты и нашей мести». Окровавленный топор, народная месть – намек, кажется, такой, что яснее и некуда, не правда ли?

Он изумленно глядит на Максимова.

– Ушам своим не верю, – шепчет он. – Так вы и вправду намереваетесь построить на этом доказательства виновности моего сына – на рассказике, на фантазии, записанной им в уединении его комнаты?

– Да что вы, батюшка, Федор Михайлович, опять вы меня не поняли! – Максимов, с показным огорчением покачивая головой, откидывается в кресле. – Мы и в мыслях не имели преследовать (если воспользоваться выражением вашим) вашего пасынка. Его-то дело закрыто, в том то есть смысле, который один только и существен. Я прочитал вам эту фантазию, как вы о ней отнестись изволили, с тем лишь, чтобы показать, какое влияние на него имели нечаевцы, и без того уж сбившие с пути бог весть сколько впечатлительных и легковверных молодых людей, особенно здесь, в Петербурге, и ведь многие из хороших фамилий происходят. Сущая моровая язва эта нечаевщина, эпидемия, я бы так сказал. Эпидемия или, может статься, мода.

– Только не мода. То, что вы зовете нечаевщиной, всегда существовало в России, разве под другими именами. Нечаевщина – явление такое же русское, как разбой. Но я пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о нечаевцах. Я пришел ради простого дела – забрать бумаги сына. Могу я их получить? А если нет, могу ли удалиться?

– Удалиться вы, натурально, можете, вы человек свободный. Пожили за границей, вернулись с подложным именем в Россию. Что у вас там значится в паспорте, я и спрашивать не желаю. Вы вольны удалиться, вольны вполне. Если кредиторы ваши обнаружат, что вы в Петербурге, то, разумеется, и они совершенно вольны принять свои меры. Меня это все не касается, это ваши с ними дела. Повторяю, вы можете покинуть присутствие. Однако должен вас предупредить: положительно обещать, что стану содействовать вам в обмане, я не могу. Это, надеюсь, понятно.

– В настоящую минуту деньги меня волнуют меньше всего. Если меня примутся донимать из-за старых долгов, значит, так тому и быть.

– Э, полноте, вы пережили потерю, настрадались, так и думаете, что вам теперь все равно. Понимаю, вполне понимаю. Да только у вас ведь жена и ребенок, им-то как без вас прожить? Хоть ради них не сдавайтесь судьбе на милость. Что до просьбы вашей касательно бумаг этих, с сожалением должен сказать, что выдать их вам пока не могу. Они образуют часть полицейского дела, касающегося связей пасынка вашего с нечаевцами.

– Очень хорошо. Но прежде чем я уйду, не позволите ли мне поступить вопреки моим же словам и сказать вам о нечаевцах нечто для вас неожиданное? Потому что я, по крайней мере, видел и слышал самого Нечаева, чем вы – поправьте меня, коли я ошибаюсь, – похвалиться не можете.

Максимов вопросительно вскидывает голову.

– Продолжайте, прошу вас.

– Нечаев – дело вовсе не полицейское. В сущности говоря, Нечаев вообще не дело властей, во всяком случае, властей мирских.

– Продолжайте, продолжайте.

– Вы можете выследить Сергея Нечаева и упрятать его в тюрьму, но нечаевщины вы этим не уничтожите.

– Согласен. Согласен с вами совершенно. Нечаевщина – мысль, в нашей стране весьма распространившаяся. Он сам – лишь телесное ее воплощение. И уничтожить ее не удастся, пока не наступят иные времена. Наша же цель поскромнее и попрacticalнее – уяснить, насколько широко мысль эта разошлась, и там, где она укоренилась, не позволить ей претвориться в деяния.

– Вы меня все же не поняли. Нечаевщина – не мысль. Она отрицает мысль и пребывает за пределами ее. Это дух, и сам Нечаев не воплощение его, а вместилище или, вернее, человек, этим духом одержимый.

Выражение максимовского лица остается непроницаемым. Он делает еще одну пробу.

– Когда я встретил в Женеве Сергея Геннадиевича Нечаева, он поразил меня как невзрачный, угрюмый, откровенно заурядный молодой человек посредственного ума. Не думаю, чтобы это первое мое впечатление было ошибочным. Но вот в эту-то невзрачную оболочку и вошел некий дух. Впрочем, и в самом духе замечательного мало. Тупой, обидчивый, кровожадный. Почему он предпочел вселиться именно в этого молодого человека? Не знаю. Быть может, потому, что счел оболочку удобной, потому что ее легко покидать и легко в нее возвращаться. Однако как раз оттого, что в Нечаеве сидит этот дух, сам Нечаев и приобретает последователей. Их привлекает дух, не человек.

– И как этот дух зовется, Федор Михайлович?

Он пытается зримо представить себе Сергея Нечаева, но видит лишь воловью голову – остекленелые глаза, вывалившийся язык, череп, расколотый топором мясника. И тучу мух. Имя приходит к нему, и он в тот же миг произносит его:

– Ваал.

– Любопытно. Метафора, надо думать, и не весьма к тому же внятная. Ваал. Вынужден, однако ж, задать себе вопрос: будет ли какой-нибудь толк от этих разговоров о духах, об одержимости духами? Будет ли толк даже от разговоров о мыслях, расходящихся по стране, точно у них руки и ноги имеются? Чем они помогут нам в наших заботах? Чем помогут России? Вы говорите, что нам не следует сажать Нечаева под замок, поскольку он-де бесом одержим (не назвать ли нам его «бесом»? В «духе», с дозволения вашего, присутствует нота отчасти фальшивая). Но как же нам-то при такой оказии поступать? Мы ведь, если на то пошло, не орден мистических созерцателей, мы – следственная часть.

Наступает молчание.

– Я ничуть не желаю отмахиваться от сказанного вами, – вновь нарушает тишину Максимов. – Вы человек, одаренный способностью к особливим озарениям, я это знал и до знакомства с вами. А эти дети-заговорщики определенно и в сравнение ни в какое не идут со своими предшественниками. Они себя едва ли не бессмертными почитают. И с этой точки они действительно похожи на драчливых бесов. Да и безжалостных к тому же. Это у них, так сказать, в крови – желать нам зла, нашему то есть поколению. Они с этим желанием на свет родились. Нелегко быть отцом, не правда ли? Я и сам отец, но у меня, по счастью, дочери. А иметь в наш век сыновей – слуга покорный. Впрочем, и с вашим отцом, кажется... там ведь, кажется, какая-то неприятность вышла с вашим отцом, или меня память подводит?

Из-под приопущенных белых ресниц Максимов бросает на него острый взгляд и, не дожидаясь ответа, продолжает:

– Вот я и гадаю, так ли уж, в последнем-то счете, много в Нечаеве от помраченного духа, как вы, сдается мне, изволите утверждать? Быть может, дело сводится все же к вековой нашей распре отцов и детей, которая только стала в нынешнем поколении более ожесточенной и непримиримой. А в этом случае самые простые средства, возможно, будут и самыми разумными: следует просто скрепиться и ждать, когда они повзрослеют. В конце концов, были же

у нас декабристы, были люди сорок девятого года. Декабристы, те, что еще живы, теперь старики, и я уверен, какие бы бесы их ни смущали, все давно уже расточились. Или вот тот же Петрашевский со товарищи, что вы о них думаете? И их тоже бес попутал?

Петрашевский! Для чего он помянул Петрашевского?

– Не могу согласиться с вами. То, что вы называете феноменом Нечаева, обладает особой окраской. Нечаев – человек кровавый. А люди, которых вы удостоили воспоминания, были идеалистами. Они потерпели поражение, потому что, к чести их, не имели достаточной склонности к интригам и уж к крови определенно не тяготели. Петрашевский – раз уж вы упомянули о Петрашевском – с самого начала отверг иезуитство того рода, что оправдывает средства целью. Нечаев же иезуит, светский иезуит, совершенно открыто провозглашающий доктрину цели, оправдывающей самое циническое злоупотребление энергией его приверженцев.

– В таком случае я чего-то не понимаю. Объясните мне сызнова: отчего мечтателей, поэтов, образованных молодых людей, подобных вашему пасынку, притягивают разбойники вроде Нечаева? Потому как, по вашему-то описанию, что же получается? Нечаев всего-навсего разбойник, едва-едва нахватавшийся вершков образования?

– Не знаю. Возможно, оттого, что в молодежи присутствует нечто, еще не уснувшее, и именно то, к чему взывает дух, обуявший Нечаева. Возможно, оно и во всех нас присутствует, что-то такое, что мы почитаем умершим много столетий назад, а оно не умерло, оно только спит. Я повторяю: не знаю. Я не способен объяснить связь моего сына с Нечаевым. Для меня она неожиданна. Я пришел к вам только затем, чтобы забрать бумаги Павла, составляющие для меня ценность, которой вы уразуметь не сможете. Только бумаги, ничего больше. И я спрашиваю вас сызнова: вернете вы мне эти бумаги? Для вас они бесполезны. Вы ничего из них не узнаете о том, почему образованные молодые люди поддаются под влияние горстки преступников. И вам, именно вам они скажут меньше, чем кому бы то ни было, потому что вы определенно не знаете, как их читать. Позвольте уж мне сказать: все то время, пока вы читали мне рассказ сына, я видел, что вы стараетесь от него отстраниться, отгораживаетесь насмешкой, точно боитесь, что слова выскочат из страницы, набросятся на вас и станут душить.

Произнося эти слова, он чувствует, как в нем разгорается некий огонь, ему приятный. Он принаклоняется к Максиму, вцепившись в подлокотники кресла.

– Что вас так сильно пугает, господин Максимов? Когда вы читаете о Карамзине или Карамазове – как бишь его? – о том, как треснул, точно яйцо, бледный череп Карамзина, что происходит с вами – страдаете вы вместе с ним или втайне восторгаетесь рукой, взмахнувшей топором? Не отвечаете? Ну так я вам скажу: настоящее чтение в том-то и состоит, чтобы становиться и рукой, и топором, и черепом. Читать – значит забывать о себе, а не стоять в сторонке, посмеиваясь. Спроси я вас об этом прямо, вы, верно, ответили бы, что охотитесь за Нечаевым для того, чтобы предать его суду с соблюдением положенных формальностей, с защитой и обвинением и прочим, а там и запереть до скончания его дней в чистой и светлой камере. Но загляните-ка в себя, этого ли вы хотите на самом деле? Не подмывает ли вас попросту снести ему голову и потоптаться в его крови?

Раскрасневшийся, он откидывается на спинку кресла.

– Вы человек чрезвычайно умный, Федор Михайлович, и, однако ж, говорите о чтении так, словно в вас в самих бес вселился. Боюсь, по таким меркам читатель из меня и впрямь никудышный – туповатый и воспарить неспособный. Однако при всем том я, слушая вас, поневоле начал гадать, не в лихорадке ли вы, часом. Если бы вы сейчас увидели себя в зеркале, вы, наверно, поняли бы, что я имею в виду. Ну-с, разговор у нас получился долгий – любопытный, но долгий, а у меня между тем множество дел, и дел неотложных.

– Говорю вам еще раз: бумаги, которые вы столь ревностно удерживаете, скажут вам не больше, чем если бы они были написаны по-арамейски. Верните их мне!

Максимов хмыкает:

– Вы сами снабдили меня наисерьезнейшей и благороднейшей из причин, по которой возвращать их вам, Федор Михайлович, ну никак уж не следует, и именно той, что при нынешнем вашем душевном состоянии Нечаев может выскочить из страницы и овладеть вами полностью. Однако серьезно: вы говорите, что знаете, как их читать. Не согласитесь ли вы когда-нибудь в будущем прочесть для меня все эти бумаги, все нечаевские документы? Тут ведь только одно дело, а их многое множество.

– Прочесть их для вас?

– Да. Прочесть их для меня.

– Зачем?

– Да затем, что вы вот говорите, будто я читать не умею. Ну так покажите мне, как это делается. Научите меня. Растолкуйте мне эти мысли, которые вовсе не мысли.

В первый раз с того дня, как в Дрезден пришла телеграмма, на него нападает смех, он даже чувствует боль в отвыкших от улыбки, застывших складках своего лица. Впрочем, смех его резок и безрадостен.

– Мне всегда твердили, – произносит он наконец, – что полиция – это глаза и уши общества. И вот вы призываете на помощь меня! Нет, не стану я вам читать.

Сложив ладошки на лоне, прикрыв глаза, приобретя еще пущее сходство с Буддой, лишенным пола и возраста, Максимов кивает.

– Благодарствуйте, – мурлычет он. – Не смею долее задерживать.

Он выходит в заполненную людьми приемную. Как много времени провел он наедине с Максимовым? Час? Больше? На скамье не осталось свободного места, люди стоят, прислонясь к стенам, стоят в коридоре, где особенно удушающе пахнет свежей краской. Разговоры мгновенно смолкают, все взгляды обращаются к нему, лишенные малейшего расположения взгляды. Сколько людей ищет справедливости, и ведь у каждого есть что рассказать!

Уже почти полдень. Мысль о том, чтобы вернуться к себе в комнату, кажется ему непереносимой. Он направляется по Садовой на восток. Небо низкое, серое, дует холодный ветер, ноги скользят на покрывшей землю наледи. Пасмурный день, в такой только и плестись, свесив голову, по улице. И все же он не может удержаться, глаза его беспокойно перебегают с одного прохожего на другого в поисках разворота плеч, походки, присущей покойному сыну. По походке он и узнает его, вначале по походке, а после уж по фигуре.

Он пытается вызвать в памяти лицо Павла. Но лицо, возникающее взамен и возникающее с редкостной живостью, принадлежит молодому человеку с густыми бровями, редкой бородкой и узким, очень узким ртом, человеку, сидевшему сзади Бакунина на сцене Конгресса мира два года назад. Лицо покрыто посиневшими на холоде фурункулезными шрамами. «Прочь!» – говорит он, норовя отогнать видение. Но оно не уходит. «Павел!» – шепчет он, тщетно вызывая к сыну.

6

Анна Сергеевна

Прежде он в этой лавке не бывал. Она меньше, чем ему представлялось, темная, низкая, наполовину ушедшая в землю. Когда он открывает дверь, звякает колокольчик. Глаза не сразу привыкают к сумраку.

Кроме него, покупателей здесь нет. За прилавком стоит старик в грязноватом белом переднике. Делает вид, будто пересчитывает товар – открытые мешки с гречневой крупой, мукой, фасолью, овсом. Он подходит к прилавку.

– Будьте любезны, сахару, – говорит он.

– Э? – переспрашивает старик и откашливается. Глаза его под очками кажутся крохотными, как пуговики.

– Мне нужен сахар.

Она выходит из-за перекрывающей дверной проем занавески в глубине лавки. Если его появление и удивляет ее, она того не показывает.

– Я займусь покупателем, Абрам Давыдович, – негромко произносит она, и старик уступает ей место.

– Мне нужно немного сахару, – повторяет он.

– Сахару? – На губах ее обозначается легкое подобие улыбки.

– Да, на пять копеек.

Она умело сворачивает бумажный фунтик, зачерпывает совком белый сахар, взвешивает, закрывает кулек. Проворные руки.

– Я прямо из полиции. Попытался получить бумаги Павла.

– И что?

– Оказывается, существуют сложности, которых я не предвидел.

– Вернут. Просто придется подождать. Все требует времени.

Хоть на то и нет никакой причины, он усматривает в ее словах двойной смысл. Если бы за спиной Анны Сергеевны не топтался старик, он перегнулся бы через прилавок и взял ее за руку.

– Так сколько?.. – спрашивает он.

– Пять копеек.

Принимая сахар, он позволяет своим пальцам скользнуть по ее.

– Вы озарили светом мой день, – шепчет он так тихо, что, возможно, она его даже не слышит.

Он кланяется ей, кланяется Абраму Давыдовичу.

Воображение его разыгралось, что ли, или он уже видел человека в тулупе и малахае, зеваку, застрявшего на противоположной стороне улицы, наблюдая, как возчики разгружают с телеги кирпич, а теперь повернувшего, как и он, в направлении Свечной?

Еще и сахар. На что ему сахар?

Он пишет записку Аполлону Майкову: «Я в Петербурге, был на могиле. Спасибо, что позаботились обо всем. Спасибо за многолетнее доброе отношение к П. Вечный Ваш должник». Вместо подписи он ставит букву «Д».

Было б не так уж и сложно встретиться с ним под рукой. Но не хочется подводить старого друга. Майков, при всегдашнем его великодушии, все поймет, думает он, я в трауре, а люди в трауре общества избегают.

Извинение достаточно благопристойное, но лживое. Он не в трауре. Он не сказал сыну прощальных слов, не отказался от него. Напротив, он хочет вернуть сына к жизни.

Письмо к жене: «Он все еще здесь, у себя в комнате. Он напуган. Право остаться в этом мире он утратил, а мир иной холоден, так холоден, как пространство меж звездами, и неприветлив». Дописав письмо до конца, он рвет его. Письмо нелепо; к тому же оно предает то небольшое, что еще уцелело между ним и сыном.

Сын остается в нем, внутри его, мертвый младенец в железном коробе, зарытом в мерзлую землю. Воскрешать младенцев он не умеет, да ему – что, впрочем, сводится к тому же – все равно не достало б для этого воли. Он парализован. Даже бредя по улице, он думает о себе как о парализованном. Каждое движение рук его замедленно, точно у иззябшего человека. Он утратил волю, или, вернее, воля его обратилась в монолитную массу, в камень, который всем своим мертвым весом тянет его в безмолвие и неподвижность.

Он знает, что такое горе. Это не горе. Это смерть, смерть, пришедшая раньше срока – не оглушить и пожрать его, но просто побыть подле него. Точно собака, поселившаяся с ним рядом, большая серая собака, слепая, глухая, глупая, неповоротливая. Когда он спит, спит и собака; когда он просыпается, и она просыпается; когда он выходит из дому, собака плетется за ним.

Мысли его с вялым упорством возвращаются к Анне Сергеевне. Он думает о ней, о ее проворных пальцах, перебирающих монеты. Монеты, стежки – что они символизируют?

Он вспоминает молодую крестьянку, виденную когда-то у ворот монастыря Св. Анны в Твери. Она сидела, прижимая к груди мертвое дитя, не обращая внимания на людей, норовивших отнять у ней трупик, и улыбалась редкостной красоты улыбкой – улыбкой святой Анны, в сущности говоря.

Воспоминания как струйки бесплотного дыма. Камышовый плетень посреди неведомой местности, серый, колкий, и бесплотная фигурка, проскальзывающая между камышин, плоская, лишенная веса фигурка мальчика в белом. Деревушка в степи: ручей, два-три дерева, корова с колокольцем на шее и дым, улетающий в небо. Край света. Мальчик спит меж камышин вперед-назад – застрявшая метаморфоза, гость из чистилища.

Видения приходят, уходят, быстрые, недолговечные. Он уже не владеет собой. Размеренным движением он сдвигает перо и бумагу на дальний край стола и опускает голову на руки. Терять сознание, думает он, так уж на посту.

Еще видение. Человек у источника подносит ковшик к губам – путник в самом начале пути; в глазах над ободом ковшика уже читается отрешенность, они уже не здесь. Прикосновение руки к руке. Ласковое. «Прощай, старый друг!» Уходит.

В чем смысл этой тяжелой погони в пустых просторах за призраком молвы, за молвою о призраке?

В том, что я – это он. В том, что он – это я. Вот что я хочу ухватить – миг перед исчезновением, миг, когда кровь еще струится по жилам, когда еще бьется сердце. Сердце – старательный вол, вращающий мельничные жернова, он даже не поднимает удивленного взгляда, когда над ним взлетает топор, но принимает удар, падает на колени и выпускает дух. Не забыть – миг перед забытьем, миг, когда я, задыхаясь, прибежал к источнику и мы в последний раз взглянули друг другу в лицо, сознавая, что живы, что жизнь у нас общая и только одна. Вот и все, что я успел ухватить: мгновенный взгляд, приветственный и прощальный, вне доводов, вне оправданий: «Здравствуй, старый друг. Прощай, старый друг». Сухие глаза. Слезы, обравшиеся в хрусталь.

Я держал в руках твою голову. Целовал тебя в губы, в лоб.

Правило: один взгляд, только один, и никогда не оглядываться. А я все оглядываюсь.

Ты стоишь у колодца, ветер играет в твоих волосах, очищение не души, но тела, восходящего к первой своей, второй, третьей, четвертой, пятой сущности, глядящего на меня хрустальными глазами, улыбающегося золотыми губами.

Я вечно оглядываюсь. Навек пойманный твоим пристальным взглядом. Целое поле хрусталистых точек, мерцающих, пляшущих, – я одна из них. Звезды в небе, и с ними перекликаются огни на равнине. Два мира, посылающие один другому сигналы.

Он засыпает за столом и спит до вечера. Матрена стучает перед ужином в дверь, но он не просыпается. Ужинают без него.

Много позже, когда девочка уже спит, он выходит из своей комнаты одетым для улицы. Анна Сергеевна, сидящая спиной к нему, оборачивается.

– Уходите? – спрашивает она. – Не выпьете ли чаю перед уходом?

Некая нервность ощущается в ней. Но рука, подающая чашку, тверда.

Она не приглашает его присесть. Стоя перед нею, он молча пьет чай.

Он ставит пустую чашку, опускает руку ей на плечо.

– Нет, – говорит она, покачав головой и отводя его руку. – Это не в моих правилах.

Зачесанные назад волосы ее удерживает массивная финифтевая заколка. Он расстегивает заколку, кладет на стол. Она уже не противится, но встряхивает головой, давая волосам волю.

– Все еще будет, обещаю вам, – говорит он.

Он сознает, что немолод, что в голосе его не осталось и следа чувственной силы, на которую отзывались некогда женщины. Ее сменило нечто, чему он не хочет подыскивать названия. Надтреснутый инструмент, голос, сломавшийся вторично.

– Все, – повторяет он.

Она вглядывается в его лицо со вниманием и серьезностью, ошибиться в значении которых ему невозможно. Затем откладывает шитье. Выскользнув из его рук, скрывается в занавешенной нише.

Он ждет, томясь неуверенностью. Ничего не происходит. Шагнув за нею, он раздвигает занавеску.

Матрена спит крепким сном, губы ее приоткрыты, светлые волосы нимбом лежат на подушке. Анна Сергеевна в наполовину расстегнутом платье. Взмахом руки и сердитым взглядом, не лишенным, однако же, удовольствия, она отсылает его.

Он присаживается, ждет. Она выходит в ночной рубашке, босая. Чуть синеют вены на ступнях. Немолода; не сдающаяся невинность. Но руки ее, когда он берет их в свои, холодны и дрожат. Она не хочет встречаться с ним взглядом.

– Федор Михайлович, – шепчет она, – знайте, это со мной впервые.

Серебряная цепочка на шее. Он перебирает пальцами звенья, пока не нащупывает крестик. Подносит крестик к ее губам, она, не колеблясь, пылко целует его. Когда же он пытается ее поцеловать, она отворачивает лицо.

– Не сейчас, – шепчет она.

Ночь они проводят в комнате сына. То, что происходит меж ними, происходит от начала и до конца в темноте. Пуще всего поражает его жар ее тела. Вот уж чего он никак не ждал. Словно огонь горит в сокровенной ее сердцевине. Этот огонь обостряет в нем чувственность, обостряет ее и то, что лихорадочные, рискованные труды их совершаются в такой близости от спящей в смежной комнате девочки.

Он засыпает. Где-то посреди ночи он пробуждается рядом с нею, не покинувшей его узкой кровати. Хоть и опустошенный, он принимается снова ласкать ее. Она не отзывается и, когда он наваливается на нее, словно мертвеет в его объятиях.

В происходящем затем нет ничего, что он мог бы назвать наслаждением или хотя бы чувством. Кажется, будто в минуты близости их разделяет саван – серый, ветхий саван его горя. И в миг наивысшего напряжения он снова впадает в сон, точно падает в озеро. Он тонет, а из

глубины навстречу ему поднимается Павел. Лицо сына искажает отчаяние: легкие его разрываются, он знает, что умрет, что нет для него надежды, он призывает отца, потому что больше ему ничего не осталось, потому что это последняя связь его с миром. Зов Павла изливается потоком придушенных слов. Это видение, в уродливой его непреклонности, налетает на него из водоворота тьмы, в который он падает внутри женского тела. Видение рушится на него, овладевает им и исчезает.

Просыпается он уже засветло. В квартире пусто.

День проходит в горячке нетерпения. Вспоминая о ней, он, точно юноша, содрогается от желания. Но не стискивающая горло *douceur*¹ двадцатилетней давности обуревают его. Скорее, он чувствует себя листом или семенем, захваченным безудержной силой, крылатым семенем, вознесенным в горние выси и головокружительно влекомым над океаном.

За ужином Анна Сергеевна остается сдержанной и далекой, внимание ее приковано к девочке, она вся погружена в беспорядочный рассказ дочери о дне, проведенном в школе. Когда ей приходится обращаться к нему, она учтивая, но холодна. Эта холодность лишь разжигает его. И навряд ли алчные взгляды, которые он украдкой бросает на шею, губы, руки матери, минуют девочку, не задевая ее.

Он ожидает, когда все стихнет, то есть когда Матрена уляжется спать. Но в девять часов свет в соседней комнате гаснет. Он ждет полчаса, потом еще полчаса. Потом, прикрывая ладонью свечу, в одних носках выскальзывает из своей комнаты. Огромные тени пляшут по стенам. Поставив свечу на пол, он подкрадывается к нише.

В тусклом свете он различает на дальнем краю постели Анну Сергеевну, лежащую спиной к нему, руки ее грациозно, как у танцовщицы, закинута за голову, темные волосы распущены. На ближнем краю лежит, с большим пальцем во рту, Матрена, другою рукой привольно обнявшая мать. Поначалу ему представляется, что она бодрствует, следя за ним, охраняя мать; но, склонившись над нею, он слышит глубокое, ровное дыхание.

Он шепчет: «Анна!»

Она не шевелится.

Стараясь успокоиться, он возвращается в комнату сына.

Мало ли может быть веских причин, говорит он себе, по которым она предпочла провести эту ночь без него. Но никакие доводы не помогают.

Он вновь пересекает на цыпочках комнату. Мать с дочерью лежат в прежних позах. И вновь его охватывает жуткое чувство, что Матрена наблюдает за ним. Он наклоняется ниже.

Да, так и есть: он смотрит в открытые, немигающие глаза. Спит с открытыми глазами, говорит он себе. Но это неправда. Она не спит, да и не спала; держа во рту палец, она с неослабной бдительностью следила за каждым его движением. Он вглядывается, затаив дыхание, и кажется, что уголки ее рта приподымаются в победной улыбке, улыбке летучей мыши. Да и рука девочки, привольно прокинута по материнскому телу, напоминает крыло.

Они проводят вместе еще одну ночь, после которой ворота затворяются. Она появляется у него в поздний час, не предупредив. И снова он проникает через нее в полную тьму, в воды, где между тел других утопленников колышется и тело его сына. «Не бойся, – хочет шепнуть он, – я буду рядом, я разделю с тобой эту горечь».

Он приходит в себя лежащим на ней, с губами, прижатыми к ее уху.

– Знаешь, где я побывал? – шепчет он.

Она высвобождается из-под него.

– Знаешь, куда ты меня отвела?

¹ Нежность (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

Ему не терпится показать ей мальчика, показать в расцвете сил, с блестящими глазами, чистым очерком подбородка, красивым ртом. Хочется вновь облачить его в белую пару, хочется снова услышать ясный, глубокий грудной голос. «Смотри, какого сокровища лишился мир! – хочется крикнуть ему. – Смотри, что мы потеряли!»

Она поворачивается к нему спиной, проводит рукой по длинному бедру вверх-вниз.

– Мне пора, – говорит она, прерывая мысли его, и встает.

Следующей ночью она не приходит, остается с дочерью. Он пишет к ней письмо и оставляет его на столе. Когда он поднимается поутру, квартира пуста, а письмо, нераспечатанное, так на столе и лежит.

Он заходит в лавку. Анна Сергеевна стоит за прилавком, но, едва завидев его, скрывается в задней комнате, оставляя его наедине со стариком Яковлевым.

Вечером он ждет на улице, пока она выйдет, и, словно тать, крадется за нею до самого дома, нагоняя только в дверях.

– Почему вы меня избегаете?

– Я вас не избегаю.

Он придерживает ее за руку. Здесь темно, в руке у нее корзинка, вырваться она не может. Он прижимается к ней, вдыхая каштановый запах ее волос. Пытается поцеловать, но она уклоняется, и губы его лишь проезжаются по ее уху. В нажиме ее тела не слышится никакого отzyва. Немилость, думает он, вот это и значит впасть в немилость. Он отступает, но на лестнице снова удерживает ее.

– Одно только слово, – говорит он, – почему?

Она оборачивается.

– Разве это не ясно? Зачем все выговаривать вслух?

– Что ясно? Ничего не ясно.

– Вы страдали. Вы умоляли меня.

Он отшатывается.

– Неправда!

– Правда. Тут ничего стыдного нет. Ну и кончено. И вам от этого добра не будет, да и мне, оттого что мною пользуются, точно вещью, тоже.

– Пользуются? Я не пользовался вами! И в мыслях даже не имел!

– Пользовались, чтобы дотянуться до кого-то другого. Не расстраивайтесь. Я ведь не обвиняю вас, просто объясняю. Я не хочу увязать в этой истории. У вас есть жена. Потерпите до времени, когда снова будете с нею.

«Жена». При чем тут жена? «Жена моя слишком молода! – Вот что он хочет сказать. – Слишком молода для меня, такого, каким я стал!» Но разве может он выговорить эти слова?

Да, сказанное ею правда, и даже бóльшая, чем она думает. Когда он вернется в Дрезден, жена, которую он обнимет, будет уже иной, в ней проступят черты, черточки, перенятые ею от этой странной, чувственно одаренной вдовы, черточки, которые сам же он с собою и принесет. И жена станет его посредником, средством дотянуться до этой женщины точно так, как через нее он дотягивается... до кого?

Возможно, лицо его выдает эти мысли. На щеках Анны Сергеевны внезапно разгорается сердитый румянец, она стряхивает с рукава его руку и уходит по лестнице, оставив его позади.

Он поднимается следом, закрывается в своей комнате, пытается прийти в себя. Сердце бьется уже не так сильно. «Павел!» – снова и снова шепчет он, пользуясь именем как заклинанием. Но вместо Павла ему неизменно является иной человек – Сергей Нечаев.

Что толку отрицать – между ним и мертвым юношей разверзлась пропасть. Он гневается на Павла, гневается за измену. Мало удивительного в том, что Павла потянуло к радикальным кругам и что в письмах своих он ни словом о том не обмолвился. Но Нечаев – дело иное. Нечаев не пылкий студент, не молодой нигилист. Это монгол, засевший в русской душе после

того, как величайший из всех нигилистов сгинул в пустынях Азии. И Павел, подумать только, Павел – рядовой солдат его армии!

Ему вспоминается «Катехизис революционера», прокламация, ходившая по Женеве как бакунинская, но и пафосом своим, и слогом выдававшая авторство Нечаева. «Революционер – человек обреченный – так начиналась она. – У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено мыслью, единою страстью – революцией. Он в глубине своего существа разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всеми законами, нравственностью этого мира. И если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить». И дальше: «Он не должен ждать для себя никакой пощады. Он каждый день должен быть готов к смерти».

Он каждый день должен быть готов к смерти, не должен ждать для себя пощады: легко сказать, но способны ли дети вполне постичь значение этих слов? Во всяком случае, не Павел, да, верно, и не Нечаев, человек молодой, никого не любящий и любовь внушить неспособный.

На память приходит Нечаев, каким он его видел, – одиноко стоящий в углу женевской обеденной залы, злобно поглядывая по сторонам, жадно набивая рот какой-то едой. Он встряхивает головой, пытаясь отогнать видение. «Павел, Павел!» – шепчет он, призывая другое, так и не приходящее.

Стук в дверь, голос Матрены: «Время ужинать!»

За столом он старается выдерживать любезный тон. Завтра воскресенье, он предлагает отправиться на Петровский, где после полудня будет гулянье с оркестром. Матрена с восторгом соглашается; к его удивлению, соглашается и Анна Сергеевна.

Они договариваются встретиться после службы. Поутру, выходя на улицу, он спотыкается обо что-то в темном подъезде – о бродягу, спящего здесь, завернувшись в пахнущее плесенью старое одеяло. Он чертыхается, бродяга, захныкав, садится.

В храм Св. Григория он приходит еще до окончания службы. Пока он ожидает на паперти, появляется все тот же бродяга, мутноглазый, смрадный. Он заговаривает с ним.

– Вы следите за мною? – гневно вопрошает он.

Их разделяет три-четыре вершка, но бродяга делает вид, что не слышит его и не видит. Выходящие из храма люди удивленно поглядывают на странную пару.

Бродяга убредает, бочком-бочком. Проковыляв с половиною квартала, он останавливается, прислоняется к стене, нарочито зеваает. Рукавиц у него нет, он использует вместо муфты свернутое в ком одеяло.

Выходят Анна Сергеевна с дочерью. Путь до парка неблизкий – по Вознесенскому, потом через стрелку Васильевского острова. Они еще не доходят до парка, как он вдруг осознает, что ошибся, глупо ошибся.

Оркестровая эстрада пуста, на лугу вокруг пруда, на котором зимой разбивают каток, никого, только чайки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.